

## СОЛНЦЕПЕК

*Публикация в рамках совместного проекта журнала с Ассоциацией союзов писателей и издателей России (АСПИР).*



РОЗА ПОЛАНШАЯ  
Прозаин. Родилась в 1983 году на Дальнем Востоке. Окончила Саратовский государственный университет имени Чернышевского. Работала редактором и заведующей отделом комплектования и обработки литературы

Централизованной городской библиотечной системы. Финалист международного литературного конкурса «Петроглиф-2022». Второе место в номинации «Лучший прозаин» II Международной литературной премии имени А. Серафимовича. Лауреат премии альманаха «Царицын»

в жанре «Проза». Участник Литературной резиденции в Пятигорске от Ассоциации союзов писателей и издателей, а также мастерских для писателей Юга. Полуфиналист конкурса «Современный российский рассказ» от «Роман-газеты».

Приходили, хлопали дверью, шуршали пакетом, перешептывались, двигали деревянными ножками по паркету, снова уходили, где-то за стеной срывались в смех, топали маленькими копытцами, визжали. Обитаемый дом. Воздух комнаты стал совсем квадратным, остроугольным.

Может, все же скорую? Жена встала где-то позади свинцовой головы – отдельной от тела, отвергаемой, положенной на каменную подушку. Ничего не говори больше, выйди – Ожегов с трудом узнал свой голос. Было бы давление, температура – что угодно, чтобы оправдать собственное бессилие из-за мигрени. У Пилата тоже была мигрень. Только вот у Пилата еще был Иисус.

Возвращался медленно. Геометрические очертания мебели, запах терна, высоко над – возня соседей. Все неизбежно проступало, уже узнавалось. Смог попросить воды, сесть. Почти уже здесь, почти возвратился. Жена нависала тенью. Под «горошковой» тканью домашнего сарафана две напряженные икры, параллельные друг другу. Пол скрипнул, подол сарафана дернулся в сторону и исчез. Привычно пыхнула колонка Neva, чиркнула штора в ванной – видимо, скоро десять. Жена не терпит нарушение режима – перед соседями неудобно поздно шуметь водой.

Мать караулила, выкраивала момент, шаркнула тяжелой ступней в дверях, выглянула – проверила

еще раз: заперта ли ванная. Вот – начала – телефон у головы и держите, и держите, а я говорила, что в коридор его надо на ночь, никогда меня не слушаешь, мучаешься теперь.

Ма... Ожегов поморщился, влез в шершавые тапки.

Мочу надо! Мочу!

Чего?

Стоит не шелохнувшись. Твердая, правая. Испокон веков мочой лечились и до восьмидесяти живем, не то что вы – таблеточные все!

Через одного дожили, ма. А то и через трех.

Потянулся за серебристой пластинкой, выскреб вторую таблетку из выемки, глотнул холодную воду. Уже все равно легче. Сейчас совсем отпустит.

Мать стала довольная, злорадная: вот потом будешь мучиться внутренностями, попомнишь мое слово, настрадайся. Сверкала радостными глазами. Ждала своей правоты. Не смотрите Геннадия Малахова, нахлебаетесь потом!

Ма! Выйди! Рыкнул.

Хмыкнула, дернула за собой дверь, несильно – так, чтобы добрая щель осталась, в которую непременно должны были просочиться из дальней комнаты ее громкие причитания и прогнозы. Дед с портрета слушал молча, кряхтел будто бы, убеждался в правоте.

Жена принесла на себе запах яблочного шампуня. Поправила улитку из полотенца на голове,

раскрыла махровый халат, выскользнула из него, мокрая, пахучая. Все такая же худая, только немного уставшая – тонкой кожей, мягкими мышцами, изученная вся, родная. Порылась в шкафу и влезла в ночнушку.

Давай я постелюсь. Никитка приходил. Не слышал?

Ожегов слышал – не осознавал только, все было в тягость сегодня. Даже внук. Встал. Выпрямился, и жена сразу стала меньше, послушнее будто – едва по плечо. Махонькая. Мокрая. Рыбка. Раскрыл руки. Поймал.

В душ иди, псиной воняешь! А сама улыбается – уж тридцать лет как в сетях. Можно и потом в душ. Чтоб не два раза.

Утром жена закопошилась раньше него. Обычно – наоборот, но сегодня записана к неврологу – месяц ждала. Ушла не завтракая. Масло на батоне под ножом Ожегова принялось вкусно расплываться, щедрое, пышное.

Эх, и дорогое масло стало – качает головой мать, цепляясь взглядом за нож, который мягко входит в сливочный бреклет. Двести двадцать рублей!

Я на него зарабатываю, ма.

Мать не уходит, стоит над столом. Масло тает во рту, разбавляется горячим сладким чаем.

Ты его прям не размазываешь – цыкает мать. Надо же – по столько класть!

Ожегов тяжело сглатывает, до треска вбивает крышку в масленку. Я здесь один на него зарабатываю! Я что, не могу спокойно поесть масло в своей квартире, на своей кухне?!

Сейчас затынет. И правда, затынула, уходя: оооой, какие мы стали, не скажи ничего. Нож с размаху влетает в раковину, дребезжит испуганно. Дед в дальней комнате слушает жалобы: нервные какие все стали, психи, а не дети.

Ожегов смотрит на свои трясущиеся руки, лежащие рядом с бутербродом – маслом вниз. Есть не хочется, от масла подташнивает, но надо в офисе продержаться до обеда. Заглатывает хлеб, впихивает пальцами, чтобы завтрак кончился быстрее.

Вечером после офиса заглядывает к Никитке. Приносит большую шоколадку «Аленка». Будешь плов? – спрашивает дочь. Никитка шелестит оберткой, пачкает смешной маленький рот.

Нет, не хочу плов.

Дужка детских Никиткиных очков перемотана липкой лентой.

Что с очками, мужик?

Я не виновен, дед!

А кто виновен?

Алинка из сада. Она ногой наступила.

Нечаянно?

Пожимает маленькими худыми плечами, трогает раненую дужку. Ожегов прислушивается к себе. Домой не хочется.

А давай свой плов, доча.

Остается, остается! – подпрыгивает Никитка, оставляет узоры от мелких зубов на «Аленкиной» плитке, серебристая обертка радостно отзывается.

Дед, когда поешь, поиграешь со мной? В шашки?

Нет, Никитка, будет темно. Надо домой.

Внук шуруется серыми глазами, слизывает шоколадную крошку со стола. А в леги, дед? Мама со мной не играет – все время сидит с тетрадами.

Ожегов уходит без чая – темнеет, а еще надо миновать гаражи, рядом с которыми живет стая бродячих собак. Улица медленно умирает, молчаливая, перезревшая – старыми домами с круглыми арками, высокими окнами, подъездами, консервирующими запах двадцатых годов прошлого века. Спальный район лучше называть старческим, возраст дожития – страшно подумать. Напротив подъездов подбоченились дедовские гаражи – с фуражками-крышами залихватски, по-молодецки наброшенными. Кустарники дикой смородины, непривычно молчаливые в безветрии. В детстве собирали с дворовыми пацанами ягоды, совали песочными пальцами в рот, дуя и стряхивая песчинки, – руки грязнее смородины. Мать выныривала из арки, шла с работы, раскачивая вишневым сумкой. Бежал, расставив руки-крылья, потому что в этом было все, а в остальном – ничего – одно любопытство. Вынимала красивыми молодыми руками пышущую ванильную сдобу. От зайчика, конечно, передал вот! Заячьи пушистые лапки, пахнущие лесом, хвоей, дикой волей, держали булочку, эту самую. Молочные зубы вгрызались в мягкий сладкий бок с волшебной присыпкой.

Жена встречает теплая, пахнущая хрустящими свежими котлетами. Голоден? Нет, у Никитки ел. Тогда пирог. Жена режет на круглой тарелке румяный пирог. Из-под тонкого теста поблескивает вишневая глянцевая начинка. Кухня уютно пахнет выпечкой. Жена снимает забавный передник с зайцами на желтом и вешает на крючок. Зайчик теперь печет сам – выросли детки. Чайная ложка в руках неприятно скользит – сальная, плохо помытая, на кончике виднеются присохшие крошки. Ложка стучается о столешницу и подхватывается женскими руками, уносится перемываться.

Ма, просили же не трогать посуду, Светик сама вымоет!

Никада не моет твоя Светик! – слышится из зала вместе с криками певца про единственную.

Жена протягивает мокрую вымытую ложку, молчит. Жена почему-то умеет молчать, как полуживотная улица их квартала. Стол пахнет старым прелым маслом. Ожегов втягивает носом и непонимающе поднимает руки.

Жена пожимает плечами, дрожит голосом: «она» тряпкой для стола трет сковородки, и полотенцем для рук – тоже.

Пожилая улица позади, за окном, вдруг просыпается, бодрится, по-тинеиджерски свистит сигнализацией. Ребристая нить рулонных штор тянется вниз, обнажается обманувшая старость. Внизу, у подъезда, все тихо. Улица снова дремлет, проваливается в сон незаметно для себя. Под пальцами подоконник кажется шершавым и полосатым.

Что. Это?

Ожегов чувствует, как медленно от шеи к вискам подступает ярость. Что за полосы на подоконнике? Менял окно в этом году. Новое, самое дорогое выбирал, копил, работал на него. Предлагали дешевле вдвое, решил – надольше чтобы, надежнее, добротнее.

«Она» все на нем режет: и колбасу, и хлеб. Просто достает из холодильника и режет. Я говорила, просила, но ты же знаешь.

Жена называет свекровь «она». Так было не всегда, а только теперь, когда забрали стариков из деревни, вернее, от деда – только портрет. Видимо, «она» – это предельная точка кипения жены. «Она» – и голос подрагивает, осторожно – лишь бы не сорваться, лишь бы ничего не лопнуло внутри, не случился надрыв, за которым последует скопленное, нарывное. Иссечь. Пусть выльется. Просто поговори со мной, рыба моя.

Сам. Все. Знаешь.

Бережет.

Ма, не режь на подоконнике, слышишь?! Ожегов несет в зал, дверь дрожит. В телевизоре пляшет мужик в лосинах. Мать хлопает в ладоши.

Умеет же деньги зарабатывать певец! Сыночек – мать с нежностью протягивает руки к экрану, к певцу.

Ма, он в лосинах! Понимаешь, ма? Накрашенный мужик в лосинах.

Мать шевелит носком в такт музыке, пританцовывает. Нельзя быть таким злым. Талантливый человек зарабатывает деньги. Побольше, чем ты!

Ма, на окне не режь! Я на него копил.

А разве там что-то видно? Я ж тихонечко.

Видно, ма.

Ожегов уходит, повторяя «видно». Совершенно, совершенно напрасно, зря. Все равно будет резать. Почему? Назло? По беспамятству? В надежде на «остороженько»?

Это мать, мать – успокаивает себя, иронично добавляет внутри: «Спокойно, Ипполит», гладит ладонью грудь, как в кино. Ухмыляется, что помогает. Помогает ведь. Но руки трясутся. Жена показывает глазами на персен – у тебя зрачки бегают, выпьешь? Две. А лучше три.

В субботу приходит Никитка. Очки все еще ранены – Листик из «Незнайки». Выковыривает неуклюжими пальцами косточки из вишневых ягод – бабе помогает.

Дед, почему я никого не обижаю в саду, а все дети кого-нибудь хотят обидеть?

Наверное, у тебя душа добрая. Дети ведь не хотят обижать, а обижают. Не потому, что злоба внутри, а потому, что больно. Им одиноко, когда только у них душа болит, хочется с другими боль разделить. А как разделить? Не знают еще.

Ожегов проходится по кухне, ищет источник собственной боли. Спина внука-Листика согнута вопросом. Осеняет вдруг: Никитка, а кто тебя обижает?

Алинка. Бьет по спине. Сюда, сюда – внук тыкает то в область почек, то в самую середину.

Сильно бьет?

Сильно, но я, дед, очень терпеливый! Только слезки сами выступают, но я не плачу. Вот так губу закусьваю. Правильно?

Ожегов хватается за солнечное сплетение, будто получил удар под дых. На худенькой спине Листика проступает цепочка острых позвонков. Сволочь, а не девчонка! Какая маленькая сволочь! Прибить, матери позвонить, воспитателей вздрючить! Ожегов ходит нервными широкими шагами, даже шаги кажутся злыми – скрипящими старыми паркетными досками, шипящими шершавыми подошвами затасканных тапок. Жена моет вишневые руки, потом осторожно проводит рукой по детской спине, будто пересчитывая косточки позвонков.

Ожегов нервно листает телефонную книгу, судорожно пытается вспомнить имена, понять, кому собирается звонить. Пожаловаться воспитателям – дети могут засмеять потом – с шестилетками такое уже опасно. Матери девчонки?

Дед, а ей очень больно? Внук слизывает алюю ягодную капельку с пальца.

Кому? Вишне?

Алине, дед!

Ожегов припоминает быдловатую брюнетку – мать девочки – загорелую, будто обожженную, с мутным нездоровым блеском в глазах и одутловатыми щеками. Пьет, бьет, меняет мужиков, объясняется матом хрипловатым голосом. А рядом маленькое детское существо, которое хочет тепла. Господи, да что это я – на ребенка! Несчастливая девочка, которую не научили любить, не научили говорить без скверны, без злобы, без насилия. Не научили играть и искать тепла – лишь глядеть исподлобья, ждать удара, не доверять, грызть горло, выживать.

Листик не выдерживает глянцевого сочного соблазна и запихивает вишню в рот. Сладкая.

Да, Никитка, Алине больно. А дома еще больнее. Ты ее пожалей как-нибудь, обними.

Глаза у Листика становятся набухшими сквозь толстые стекла круглых очков – размером почти с пластиковые ободки: пожалеть? Чтобы ей не было больше больно?

Больно ей будет, Никитка, только чуть-чуть меньше благодаря тебе. Понимаешь?

Листик вскакивает и поправляет сползающую резинку на дужках очков.

Пачкаешь очки, Никит!

Но Никитка уже бежит мыть руки. Душистая пена пузырится и весело лопается. Убегает в коридор, капая водой с чистых пальцев. Я сейчас! Сейчас!

Руки, Никит, вытри!

Внук возвращается с розовым зайчиком из «Киндера» – выудил из кармана олимпийки.

Вот, вот! Девчачий заяц, Алине дам, и она обрадуется.

Господи, чуть тепла, маленькие смоляные крупички, сверкающие от солнечных зайчиков. Море, ракушечный пляж, тепло бухты Инал, соленые воздух и губы. Совсем-совсем легкое дуновение любви. Смешной двойной камешек, похожий на слоеный пирог. Спелое ягодное платье облепляет мамыны ноги, взмывает пожаром позади нее. Мама, счастье! Жизнь, легкость, уют, горячая разогретая кожа. Волосы совсем выгорели, сынок, – мама гладит макушку. Ма... Хочется прыгать и – прыгается, скачется, бежится. В загорелых ногах – жажда, торопливость. Спина совсем легкая, как если бы прорезались крылья.

Розовый зайчик в ладошке Листика. Маленькая крупичка тепла, чуть-чуть духа в этот храм.

Дед, ты чего? Не надо зайца?

Надо, Листик, дари. Голос Ожегова из какой-то морской раковины – шелестит, как песок по стенам и камням пещеры у самых волн.

Стучат, гремят, будят, шумят! – мать приходит неторопливо, в ногах нет жизни, жажды, смелости. Некуда бежать.

Ма, Никитка же не шумит. Просто сидел, ковырял косточки в вишне.

Мать будто не слышит: шумят, шумят... Когда уже за ним придут. И топчут, и топчут, какие дети стали – не-соз-на-тельные! Дома б так топотел и визжал. Вот вырастет – будет сам потом мучиться ваш Микитка – от несознательности своей, замучается болячками.

Ма! Иди к себе! Хватит кликать!

Мать словно нарочно не отрывает от пола тапки, елозит. А я не кликаю, а говорю, как будет. Не слушаешь меня никогда.

Хватит кликать беды!

Про него самого – Ожегова – еще можно, еще куда ни шло, даже про жену – про рыбу, все время извиняющуюся перед всеми вокруг. Но не про Листика! Ожегов поправляет пластиковую поломанную дужку. Никитка, мама уже заказала новые очки?

Зеленые!

Зеленые... Листик... Листик вдруг смотрит не доверчиво.

Садись, дед, спросить хочу. Важный очень, взрослый. Ты почему свою маму не любишь? Серьезно глядит, даже зрачки напряженные какие-то – недетские горошинки вместо спелых вишен.

Не люблю?

Ожегов открывает рот, чувствуя себя гигантской рыбой, не замечает, как взлетает едва тронутая сединой заиндевевшая бровь и дергается нервно лицевая мышца. И вдруг вишневая влага растекается под кожей, добирается до глаз.

Не любишь. Подтверждает внук.

Где-то из глубины зала доносятся голоса токшоу. Громкие, зудящие. Мать смеется тоже громко – так демонстративно смеются дети, когда хотят привлечь взрослых к совместному просмотру. Смех немного жуток, катается шариком по лестнице, подпрыгивает торопливо. Не кончается. Ожегов идет по коридору, раскрывает дверь. Мать сидит, обмотав шею жирным кухонным полотенцем. Дует – объясняет она.

Ма, а кофта, шарф... Зачем полотенце?

Мягенькое – мать гладит полотенце – лучше так. Погляди только, сына, ведь ребенок не его! Экспертиза показала.

Мать не отрывается от экрана, светится радостью.

Ма, это все актеры, и в «Суд идет», и здесь...

Мать кутается в полотенце, отмахивается и снова заходится в смехе. На ее коленях лежит недовязанная зимняя манишка для Листика.

Расплывается все перед глазами! – мать виновато принимается разматывать связанное. – Поможешь?

Две маленькие детские руки согнуты в локтях, мама разматывает пряжу, обвивает руки, стягивает. Папа далеко, папа в Афгане. Весь мир – это они вдвоем с мамой в квадратной чужой комнате на заставе. Из-под мыльной ленты на оконных щелях хочет прорваться дальневосточная вьюга, глядит в черное окно, рассыпается искрами. По телевизору показывают «Полосатый рейс». Ожегову – три, он старается понимать сюжет и по-взрослому смеется. Очень громко – мама должна поверить, что ему, правда, очень смешно. Мама почему-то не смотрит на экран, а смотрит на сына и улыбается, греет взглядом. Теплый, теплый пляж бухты – совсем жемчужный из-за ракушек, вечернее солнце гладит скалы, масляная сливочность у самого сердца. Колючая бордовая пряжа вокруг тонких запястий. Мама свяжет новый свитер, на котором после лета обнаружатся две косматые дырочки из-за моли. Моль будет казаться сказочной и совершенно злодейской, возможно, с пиратской лентой на подбитом глазу.

Кто рисовал на обоях? Кто? Мама стоит грозная, красивая, молодая, сверкающая налакированными новогодними волосами.

Кто? – будто в квартире есть еще кто-то, кроме них двоих.

Мать расстроена, расстроена даже ее любимая надушенная приторно-пудровая блузка с гладкими глазурными пуговками – вздувается как-то тревожно на груди.

И стол... Стол зачем пошкрябал ручкой?

Я сотру, мам!

Мать напрасно трет кухонной тряпкой по написанному. Садится и закрывает лицо руками. Под синими чернилами на столешнице глубокие прорезанные бороздки.

Я же одна, сын, ну где мне взять денег на новый стол?

Они с мамой вместе трут заляпанный диван мокрыми тряпками. Окунают тряпки в вонючую белую пену моющего средства. Тонкая обивка местами расплывается по швам. Только хуже делается – мама садится в сухое кресло, опускает

тряпку на круглую коленку с острой беззащитной косточкой. Безразлично смотрит на узорный ковер с засохшими слипшимися ворсинками – кажется, от вишневого варенья.

Ма, ты ведь меня все равно любишь? Маленькие руки усердно продолжают тереть старую обивку дивана, извинительно тереть. Пахнет хлоркой, Советским Союзом, первой жевательной клубничной резинкой – уже две недели безвкусной, засушенными с Нового года мандариновыми корками на подоконнике.

Мама, будто набравшись сил, вздохнув, встает. Ее руки снова принимаются водить тряпкой рядом с рукой сына, губы коротко целуют в самую макушку – в самое беззащитное, солнечное место.

Господи, любит, все-все прощает. За что такое счастье? Такой пудровый невесомый свет, скользкий пушистыми волосами по щекам – еще персиковым, почти младенческим, бархатным.

Ожегов пытается забрать у матери грязное полотенце. Давай принесу плед? Но мать цепляется негнушимися пальцами, глядит весело на игру в суд.

Господи, да она же – ребенок. Просто ребенок. Ей даже не шесть. Господи, даже не шесть!

«...Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или жаждущим, и напоили?»

Мигрень подступает медленно, как змий, ползет по закупоренным венам. У Пилата был Иисус. Господи, ведь и у Ожегова есть Иисус. Вот Он – сидит, кутаясь в промасленное полотенце, сгибается дугой неокрепших позвонков на кухне над вишневыми косточками, бьет и стонет в детском саду, ищет отца, любовь, ловит солнечного зайчика на ковре в поисках духа, извиняется голосом вечно виноватой угождающей жены. В груди становится тихо, солнечно, почти ракушечно. Как перед иконой.

Ожегов стоит на болезненных коленках и сгибает две напряженные руки, ждет, когда змеистая пряжа свяжет его до конца, стянет в клубок. Мать проводит старческой рукой по его макушке, шершавая кожа цепляется за волосы.

Выгорел-то как! Выгорел на солнце, сына! Со всем белым – удивляется она.

Надежда Александровна Лохвицкая, прославившаяся под псевдонимом Тэффи, начала свою карьеру довольно поздно, почти в тридцать лет. Сегодня читатель знает ее больше как автора рассказов, но Тэффи написала множество блестящих фельетонов, сначала в журнал «Биржевые ведомости», после – в «Русское слово». Фельетоны Тэффи отличались удивительной легкостью и юмором (которого в любые времена не хватает). Она умело обходилась без штампов и обветшалых шуток, как будто писала читателю литературные письма – ироничные, тонкие и порой парадоксальные.

Научный журналист, популяризатор науки и писатель Антон Нелихов отобрал дореволюционные публикации Тэффи 1913–1914 годов, с тех пор не публиковавшиеся, и написал предисловие к сборнику, выходящему в издательстве «Альпина.Проза». «Фельетоны для вечности» – называет Антон их в предисловии, неустаревающие истории об обычных людях, о нас с вами.